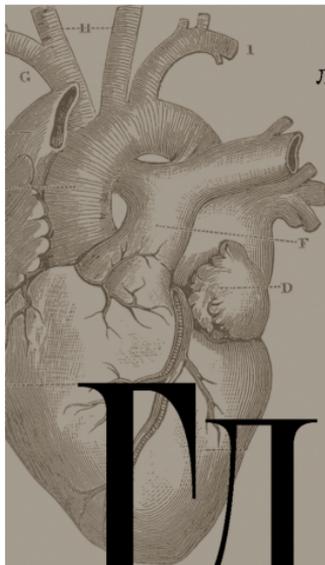


ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ "БОЛЬШАЯ КНИГА"

Марина
Степнова

ГДЕ-ТО
ПОД ГРОССЕТО

Рассказы



Марина Львовна Степнова

Где-то под Гроссето

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=17036672

Где-то под Гроссето: Издательство АСТ, Редакция Елены Шубиной;

Москва; 2021

ISBN 978-5-17-127447-4

Аннотация

Марина Степнова – лауреат премии “Большая книга”, автор романов “Сад”, “Женщины Лазаря”, “Хирург” и “Безбожный переулок”.

В сборнике “Где-то под Гроссето” – истории о людях, которых не принято замечать, да и они сами, кажется, изо всех сил стараются остаться невидимками. Но их “маленькие трагедии” и “большие надежды” скрывают сильные чувства: любовь, боль, одиночество, страх смерти и радость жизни. Всё то, что и делает нас людьми.

Содержание

Тудой	4
Письма Диккенсу	20
Боярышник	39
Бедная Антуанетточка	53
Конец ознакомительного фрагмента.	71

Марина Степнова

Где-то под Гроссето

Тудой

Она говорила – тудой, суюдой.

Поставь платочек на голову, простудишься.

Тут все так говорили.

Странное место.

После крошечного гарнизонного городка на Южном Урале всё казалось диким – школа в самом центре, рядом с оперным театром, сам оперный театр. Розы на улице. Огромные, лохматые, как спросонья. Абрикосы тоже на улице – и никто не рвет. Переспелые, шлепались прямо на тротуар – шерстяные оранжевые бомбы. С мякотью. Поначалу он не выдерживал, просто не выдерживал – набивал сперва полный рот, потом – полные карманы, неторопливые прохожие косились удивленно. Зачем рвать жерделу, мальчик, если на базаре за тридцать копеек можно купить отличную, просто отличную абрикосу? Лучше всех были ананасные – полупрозрачные, длинные, в зябкую крупную родинку. Действительно пахли ананасами, хоть и абрикосы. За такие, правда, просили копеек шестьдесят. Ведро вишни – пять рублей. Кило помидоров – пять копеек. Роза, почти черная, – тоже пять копеек. За

штуку. Но это если маленькая, на невысоком тонком стебле.

Охапкой – в ведре.

Немыслимо!

Они бродили по базару, взявшись за руки, бездумные, счастливые, маленькие, как в раю. Пробовали всё подряд, тянули в рот мед, персики, груши, незнакомые слова. Она поучала, важничая. Переводила ему с райского на русский. Моале – это был мягкий сыр, белый, на вид совсем как творог, но пресный. Кушать надо с помидорами и с солью. Тут все говорили – кушать. Мэй, посторонись, ты что, не видишь – тут дети. Кушайте, кушайте, ребятки. Брынза – наоборот, соленая, твердая. Пористая, как котелец. Еще одно слово. Тут всё строили из котельца. Рафинадно-белый городок. А ему казалось – не из сахара, а из брынзы. Коровья была вкусная, а вот овечья далеко и густо пахла рвотой. Буэ-э. Гадость. Он так и не рискнул попробовать. Синими называли баклажаны, красными – помидоры. Даже не так – синенькие и красненькие. Тебе синеньких положить? Буро-серо-зеленая масса на тарелке. Печеные перцы. Укус. Сливовое повидло, сваренное в тазу прямо во дворе. С дымком.

Она говорила – повидла.

Повидлу хочешь?

Белый хлеб, сливочное масло, горячее сливовое повидло, сверху – грецкие орехи.

Слопать ломоть – и айда сайгачить по магале.

Еще одно слово.

Магала.

Россыпь карточных почти домишек, печное отопление, сваленный как попало человеческий сор, драный рубероид, саманные стены – крупный, спелый замес соломы, глины и говна. Хижины дяди Тома. Тенистые дворики заросли бусуйком. Мелкий синий виноград, курчавый, бросовый, душистый, вино из него давили прямо ногами, переливали, живое, багровое, в пятилитровые бутылки. Затыкали заботливо кукурузной кочерыжкой. Называется – чоклеж. Нет, не так, чоклеж – это была полая кукурузная солома, звонкие пустотелые былки. Страшное оскорбление, между прочим. За чоклеж можно было и в дюньдель получить. Не говоря уже про муля. Скажешь кому-то, что он – муль, всё, убьют. Она делала круглые глаза, наклонялась близко-близко, так что он видел зеленые крапинки возле зрачков и волосы, светлые и темные вперемешку. Сливочное масло, медовая коврижка, какао с теплым топленным молоком.

Она жила на магале.

А он – в новой девятиэтажке. Сын советского офицера и врача. Гордость страны. Элита. Не белая, конечно, но бледно-бледно-серая прочная кость. Квартиру дали быстро – через полгода, до этого – снимали, мать была недовольна. Еще не хватало, деньги с книжки тратить. Гоняла отца ругаться, добиваться своего. Пойди и скажи, что тебе положено! А то опять раздадут всё своим нацкадрам! Это была первая республика, в которой они служили. Мать волновалась. До это-

го всё по РСФСР мотались. Все гарнизоны собрали. Есть на свете три дыры – Термез, Кушка и Мары. А теперь вот – получите. Кишинев!

Получили. Двухкомнатную. Набережная, 39, кв. 130. Первый подъезд. Шестой этаж. А им обещали дать свою квартиру, еще когда отец родился. Ее, разумеется, отец. Невысокий, щербатый, с заросшей сизой рожей. Вечно бухой хохотун. Вот уже и Вальке двенадцать лет, и старшой из армии вернулся, а всё ждем.

Валя.

Ее звали Валя.

Валя с магалы.

Тоже две комнаты – каждая метров по восемь. Глиняные полы. Прохладно. Мать, отец, Валя, старший брат, жена старшего брата, ихнее дитё. Так и говорили – ихнее дитё. Он даже не разобрался, мальчик или девочка. Поди разберись, когда так орет. К трем годам поняли, в чем дело, – даун. Да куда уж денешь? Пускай ползает, все-таки нямур. Родня. Через стенку жил такой же кагал нямуrow – двоюродных, сторуродных, незнамо какая гуща на киселе. Все орут, ругаются, трясут кулаками, обливаются холодной водой из колонки во дворе. Юг. Магала.

Еще во дворе жили старые евреи, бездетные. Дядя Моисей, слепой на один глаз, скорняк – иголка выскочила из швейной машины, и всё, тютю. Но и с одним глазом кушмы такие шил, что очередь стояла. Из горкома приезжали даже.

Шкурки болтались на веревке тут же, во дворе. Каракуль, смушка, смрад. Тетя Мина вынянчила по очереди всех дворовых младенцев – строгая. На базаре ее боялись. Вставала в воскресенье в четыре утра, в пять уже бродила среди прилавков, брала живую курицу, дула ей в попу. И вы за эту курицу рубель просите? Не смешите! У нее же ж даже жопка не желтая! Валкий с недосыпа крестьянин хватал несчастную птицу, тоже дул ей в зад – сквозь бледные перья видна была кожа, не то желтая, не то белая – не разберешь. Тетя Мина втолковывала по-молдавски, какая должна быть настоящая, правильная кура, торговалась, пока продавец не уступал во все за бесценок, и она уходила, важная, выпив стаканчик вина, связка кур обреченно свисает головой вниз, в кошелке синенькие, красненькие, крепкие гогошары, бледный праж, борщч для замы. Он потом вычитал у Стругацких – боржч. Но нет, не то. Это был именно – борщч, кислый. Травка, которую добавляли в куриную лапшу, жирную, густую. Зама. С похмелья оттягивает – только в путь.

Ели вечером всем двором, на улице. Передавали тарелки, стаканы с вином, сдвигали табуретки, сверху – занозистая доска. Швыряли куски детям, кошкам, щенкам. Магала. Он тоже ел, сидел рядом с Валею, важный. Жевал с закрытым ртом, локти на клеенку не клал, говорил вежливо – спасибо. И – хлеб передайте, пожалуйста. Валина мать кричала через весь стол – вкусно тебе, женишок? Он кивал, стараясь не обижаться на женишка. Вкусно. Валя смеялась, бол-

тала ногами, задевала его горячей коленкой, на правой голени – белый серпик шрама. Стеклом порезалась. Папка спяну стекло высадил, оно в кроватку и упало. Давно, мне два года еще было. Папка лыбился тут же, будто незнамо какой подвиг совершил. Мэй, винца женишку нацедите! Пусть выпьет. Мужчина он или нет?

Как приедем слабаку, вино ему разбавляли водой – марганцовка превращалась сперва в кровь, потом – в розовую акварельную воду. Домой он возвращался сытый, сонный, греб по линолеуму пыльными заплетающимися ногами. Отказывался от скучного, пресного ужина – макароны с сосисками. Ни перца, ни вкуса, ни огня. Мама сердилась. Опять таскался неизвестно где! Отец, ну что ты молчишь? Отец поднимал глаза над “Правдой”, подмигивал еле заметно. Пусть себе гуляет. В доме было две “Правды” – мама тоже была коммунист. Заведующая отделением в больнице. Для души читали “Роман-газету”, “Литературку”. Ему выписывали “Костер”. “Вечерний Кишинев” еще ничего был. Можно в руках подержать.

А у Вали никто ничего не читал и не выписывал. Зато у них был телевизор напрокат. Он даже не знал раньше, что такое бывает. Напрокат! Хотел спросить у матери, но она отмахнулась. Не морочь мне голову. Нормальные люди телевизоры покупают. Напрокат только голытьба берет.

Еще одно слово – голытьба.

До школы было пешком четверть часа. По сонным ули-

цам, почти деревенским, – сады, заборы, цепные псы. Они встречались на углу – Валя выныривала из своей магалы, махала ладошкой, варежкой, шапкой. Шапка была красная, с помпоном. Варежки тоже красные. На каждой – кривая, посеревшая от грязи снежинка. Обратно шли снова вместе – но уже не четверть часа, сколько угодно, болтали без умолку, забредали бог знает куда, в парки, проулки, часами торчали у автоматов с газировкой. С сиропом – три копейки, колючая, горькая – копейка. Самое интересное было – мыть стаканы, вдавливать в специальное жерло, пока не брызнет вода или взрослые не погонят. Они удирали, хохоча, держась за руки, у нее всегда были горячие руки, маленькие, горячие, твердые. Двенадцать лет. Валя. Он просто хотел быть рядом. Всегда. Всегда быть рядом. Или умереть. Больше он ничего не умел. Двенадцать лет.

Мать заметила первая – и попробовала принять меры. Он ведь был отличник, всегда. Не зубрила, просто ясная голова плюс дисциплина. Мать проверяла уроки каждый день, садилась рядом, просматривала все тетради, фиг ошибешься или надуешь – врач. Если чего-то не знала сама, дожидались отца, он приходил поздно, вкусно скрипел ремнями. Запах казармы, такой родной, медленно вытесняли скучные ароматы главка. Отец делал карьеру, шел в гору, но скучал по своим гарнизонам, по пыльным плацам, бравым крикам, крепким, нацеленным на врага шишкам ракет. Алгебра, говоришь? Сейчас мы ее мигом расщелкаем. Вот сюда смотри,

если это так, значит, это – непременно вот так. Хорошо объяснял, спокойно, понятно. Сам отличник боевой и политической.

Судьба.

А Валя была троечница. И магала еще эта. Дурная компания. Там же алкашня одна. Отбросы. Ты что, хочешь, чтобы твой сын сел в четырнадцать лет, да?

Еще одно слово – алкашня.

Отец не хотел, чтобы он сел, поэтому сходил в школу, к директору, поговорил, скромно сияя колодками, чтобы приняли меры. Мальчик станет офицером или врачом. Ему нужно заниматься. Ясная голова. Судьба. Дисциплина. Вы же понимаете? Директор, крупный, львиноголовый старик, получивший первую медаль еще под Сталинградом, понимал. Магала портила ему всю отчетность. Старшего Валиного брата он еле дотянул до восьмого класса и с огромным облегчением выпихнул. Настоящий, полнокровный дебил. Ни ума, ни сердца. Потерпите, скоро выпускные, после этого обстановка сильно изменится. Можно, конечно, перевести вашего в параллельный класс. Отец вспомнил что-то такое далекое, не рассказанное даже жене. Воронежская область, Бобровский район. Наденька. И отказался. Пусть доучатся вместе.

Их просто рассадили.

Надвигался восьмой класс, рубикон, после которого агнцы, отделенные от козлиц, дошлифовывали свое будущее:

учебники по программе первого курса, репетиторы, гонка на аттестатах зрелости. Козлища рассеивались по ПТУ, техникумам, формировали собой будущий обслуживающий персонал. Самые слабые опускались вовсе на дно, кое-кто с шумным криминальным плеском. Элои и морлоки. Выбор предстояло сделать в четырнадцать лет. Без двух лет взрослые люди.

Он тяжело страдал от того, что они теперь сидели не вместе, хотя в утешение его наградили лучшей соседкой из всех возможных. Света Воропаева. Первая ученица класса, первая же, как положено, красавица. Девочка с золотыми волосами, капризная куколка, обеспечивавшая бесперебойные поллюции всей мужской половине 8 “Г”. У нее был особый, из Прибалтики привезенный фартук, очень изящный, с большими крыльями из черного вдовьего газа, которые она вечно поправляла ловким передергиванием плечиков. Как дворняга блохастая, честное слово. Он, единственный свободный от морока, видел Воропаеву такой, какая она была на самом деле, – тощая, нескладная, белесая девица с выпуклыми и пустыми, как у котенка, глазами. Золотые локоны, оббившие столько сердец, были двумя жидкими косицами, не очень удачно прикрывавшими оттопыренные уши. Как-то раз она дотронулась до него, пододвигая толстенный учебник литературы – влажная, словно надутая, сизоватая клешня. Он дернулся от отвращения, и Воропаева, расценившая эту дрожь самым приятным для себя образом, победительно

улыбнулась. Они были пара. Два лучших в классе ученика. Идеальная комбинация для статусной случки.

Валя, задвинутая на камчатку, на самые отдаленные отроги класса, отчаянно ревновала, даже ревела от злости. Их отношения словно обрастали стремительной плотью – вспухший крупный рот, носик, налившийся нежной прозрачной краснотой, вздрагивающие плечи, удивительно хрупкие. Будто живая бабочка под пальцами. Он обнимал ее – дружески, она враждебно отклонялась, и воздух от этого мгновенного прикосновения трещал от почти видимых электрических искр. Отстань, нечего! Иди Светочку свою лапай ненаглядную! Он тряс головой оскорбленно, словно ему предлагали полакомиться из помойного ведра. Они торопливо мирились и снова отправлялись бродить по городу, подгоняемые временем, которого становилось всё меньше и меньше, словно окончание восьмого класса должно было стать для каждого финальным рубежом, конечной станцией, за которой не будущее, а смерть. Теперь он хотел умереть не без нее, а за нее. Огромная разница. Четырнадцать лет – это не двенадцать.

Доруле. Еще одно слово. Не переводится. То, что я люблю и жалею больше всего на свете. То, что больше и лучше меня самого.

Переходные экзамены он сдал на отлично. Круглые пятерки. Он и Светка Воропаева закончили первыми в потоке. Валя, едва прохромавшая по этой сословной лестнице, отнесла

свои скромные документы в профессионально-техническое училище номер восемь. Буду штукатуром, как мамка. Здравствуй, грусть.

На магале по этому поводу устроили огромный и шумный праздник – с фаршированными перцами, крошечными голубцами, плотно запеленутыми в виноградные листья. Еще одно слово – сэрмале. Тарелки на столе стояли в два ряда – как на свадьбе. Жареная свинина мирно соседствовала с кисло-сладким жарким из баранины, которое натушила тетья Мина. Впервые магала встретила его с холодком. Веселое, щекотное слово “женишок” не летало больше над столом, никто больше не хлопал его по плечу и не предлагал стакан вина. Все теперь были взрослые, всё понимали – и они с Вале́й тоже. Тогда он плесканул себе сам – не разбавляя, синего, густого, а потом еще мутно-белого, из шаслы, которая росла тут же, первобытно соперничая с бусуйком за место под простодушным и толстым кишиневским солнцем. Валя посмотрела сочувственно и взяла его под столом за руку – ладонь у нее была всё такая же, маленькая, горячая, твердая. Хоть что-то не менялось в медленно кружащемся мире. Хоть что-то в нем было навсегда.

Домой он вернулся за полночь, уже даже не пьяный, вообще никакой, небелковая форма существования тел. Мама плакала, придерживала его голову над унитазом. Какой ужас! Ужас! Отец, ну скажи хоть ты! Ему же всего четырнадцать лет! Нашатырю разведи ему лучше, – посоветовал

отец, семейные трусы из черного сатина, крепкие ноги, никакого пуза. Полковник на генеральской должности в сорок лет. Пусть протрезвеет немного, поспит, а завтра поговорим.

Кровать крутилась, всё крутилось вместе с ней и вокруг нее, огненными пятнами вспыхивали в темноте слова – муть, голытьба, епураш, гогошары. И еще почему-то тихим, испуганным шепотком бормотала на самое ухо Валя – нет, не сюдой, глупый, не сюдой, тудой. Потом Валя заплакала, превратилась в маму, и вообще всё исчезло, без следа, словно голову ему быстро и мягко погрузили в непроницаемую чернильную жижу.

Пробуждение не хотелось вспоминать и через тридцать лет. Половина жизни прошла, господи. И никто не знает, большая или меньшая. Они все победили его, жизнь победила. Шуточки, как сказал отец, кончились. Пришло время выбирать. Он выбрал медицину и весь девятый и десятый классы просидел над химией и биологией, которые не особенно и любил. Отец откровенно обиделся, мать гордилась. Оба и не догадывались, что дело не в семейной династии, а в самом обычном медицинском институте, который был в Кишиневе, в отличие от военного училища. Выбери он службу – пришлось бы ехать учиться черт знает куда. Далек от Вали.

Они встречались теперь всё реже, всё суше – новых слов становилось меньше, старые стремительно утрачивали вкус. Он боялся спросить про шепот, про ту ночь: было или не бы-

ло? Она молчала, ПТУ придало ей неожиданной надменности, словно она не на штукатурку училась, а готовилась к восшествию на престол. Он остался школьником в синей форме, она уже умела класть плитку. Пятнадцать лет. Колготки из толстого дешевого капрона, туфли на небольшом, но все-таки каблуке. Лифчик, мама дорогая, настоящий лифчик, розовые бретельки которого она и не пыталась поправлять. Какой-то Гена, который умел курить взятяг. Что он мог предложить взамен, кроме выученной наизусть формулы фенилаланина? Теперь они ходили разными дорогами и в разное время.

Под Новый год он выпросил свидание – на магалу его больше не приглашали, телефона у Вали не было, пришлось караулить возле ПТУ. Будущие маляры и штукатурки, галдящий молодой пролетариат. Цыканье, цуканье, харчки, матерки. Он спрятал в карман дурацкую шапку, чтобы выглядеть хоть немного взрослее. Валя вышла с невысоким кривоногим орангутангом, усатым, на толстых плитах щек – самая настоящая крепкая щетина. Хочешь в парк Пушкина? Она согласилась с легким вздохом, как уступила бы ребенку, который канючит надоевшую сказку.

Они шли по аллее Классиков – два ряда продрогших бронзовых бюстов. Михай Эминеску, Василе Александри, Ион Крянгэ, бог еще знает какие столпы молдавской литературы, которой, если честно, никогда и не было. Говорили, что если посмотреть в профиль на Эминеску, то ока-

меневшие пряди его навеки откинутых волос составят профиль уже самого автора памятника. Всадник с двумя головами. Классики провожали всех желающих к самому центру творческого мироздания – к памятнику Пушкину, опекунской, между прочим, работы. Маленький, грустный, курчавый. Он решил, что поцелует ее в первый раз именно тут – в сквозном бесснежном парке, под сенью и синью декабрьского вечера. Но сначала стихи. Доамне фереште, стихи! Всем нам когда-то было пятнадцать лет. К несчастью, это очень быстро проходит.

Она смотрела в сторону, в глубину, сквозь голые черные ветки, и в самой середине строфы вдруг сказала – жалко, что “стефании” зимой не продают, правда? “Стефания” – сладкие параллелепипеды, щедрые слои абрикосового джема, бисквита и шоколадной глазури. Все пирожные стоили 22 копейки, а “стефания” – 19. Еще одно слово – последнее.

На выходе из парка он попытался взять ее за плечи. Напрасно. Всё напрасно. Десятый класс он заканчивал уже в Москве, отца, с отличием расцелкавшего Академию Генштаба, перевели в столицу, о чем родители, лопааясь от гордости, сообщили за новогодним столом. Вершина пищевой пирамиды. Самая высшая эволюционная ступень. Отец с праздничной салютной пальбой откупорил шампанское, потянулся зеленым горлышком к бокалу сына – пусть, пусть, он теперь взрослый, можно. Это на материн испуганный взгляд. После той далекой ночи она подозревала в нем будущего ал-

коголика, позор семьи. Умрешь под забором! Пусть. Лишь бы Валя. Не без нее, не за нее. Вместо.

* * *

Тридцать лет спустя он попал в Кишинев на пару дней, проездом. Другая страна, другой город, другой язык. Колочая ледяная латиница до неузнаваемости изменила круглый ласковый лепет его отрочества. Таксист, узнав, что он из Москвы, долго и сварливо жаловался на жизнь, вспоминал Советский Союз. Вот было времечко! Всё просрали, гады. Посмотрел, ожидая сочувствия. Он отвернулся к окну. Гады были они с таксистом, других просто не существовало. Не стоит и искать. Улица Набережная чудом сохранила имя, всё остальное невозможно было ни выговорить, ни узнать. Армянская, Болгарская, Пушкина, проспект Ленина. Все они умерли. Все. Осталась одна Валя.

Он свернул на ощупь, наугад, потом еще раз.

Магалы не было.

Старуха, всё та же, кишиневская, важная, вышла из подъезда новой многоэтажки с ведром, полным воды. Газон зарос крепкими крестьянскими помидорами, болгарским перцем. Одурающе пахло горячей ботвой. Он спросил так же, как шел, – наугад. Первая попавшаяся улица его детства. Дружбы двадцать один. Воронеж. Тула. Брянск. Барнаул.

“Нет, милый, – сказала старуха на южный распев. – Это

тебе не сюдой. Это тебе – тудой”.

И показала рукой – куда именно.

Письма Диккенсу

Конечно, глупо было приезжать в Лондон на две недели.

Но и оставаться на все новогодние праздники в Москве, если ты не ешь салат оливье, не запускаешь петарды и лет десять уже не включал телевизор... Нет, упаси боже, я не сноб. Просто не умею попадать в такт общей радости. Да и вообще в такт – это не про меня. Если считать высокие адаптивные способности одним из основных признаков человека разумного, то я вовсе не человек. Последний раз мне было по-настоящему хорошо и спокойно, когда меня, первого из класса, приняли в комсомол. Мне четырнадцать лет, ВХУТЕМАС – еще школа ваянья... Синяя школьная форма, залоснившаяся на заднице и локтях; синие пятна прыщей на взмокшем от новенького нимба лбу; в последний раз взвившиеся кострами синие ночи. Крошечная кровавая капля комсомольского значка, смуглые сиськи Ленки Бардышевой, натянувшие белую рубашку из “Детского мира”, острое чувство сопричастности, весь многомиллионный советский народ.

– Что тебе надобно, старче?

Мне? Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый год, пожалуйста.

Отвали и не задерживай очередь, идиот!

Конечно, Лондон оказался ужасным, но в Москве я бы просто свихнулся от ожидания.

Кингс-Кросс, отель “Нортумберленд”, тот самый, где у злосчастливого сэра Генри украли ботинок. Сначала, как водится, “Колобок”, потом – “Три медведя”, “Айболит”. Но рано или поздно дело дойдет и до старины Холмса. Узкий дом серого кирпича в ряду таких же, стиснутых, как зубы. Стеклопанельная дверь. Я вхожу, стряхиваю с волос поросль капель. Стоп, еще одна цитата! Отвяжись, я тебя умоляю! Пожалуйста, и еще одна. В крошечном фойе темно, как во времена газовых фонарей, и пусто. Восемь утра. Ночной перелет. Сейчас только упасть, достать чернил и плакать. Роняю на пол рюкзак, откашливаюсь, сильно, до хрипа, тру уши. Никого. *Sorry*, – говорю я громко, и двойное короткое “р” прыгает по прихожей, как град по подоконнику. Что я буду делать, если ему не понравится Булгаков? Что я вообще буду делать, по правде говоря?

Она поднимается из-за стойки, где, оказывается, спокойно сидела всё это время, невидимо наблюдая за моими ужимками и прыжками, – и я сразу остро чувствую себя тем, кем, собственно, и являюсь: сорокалетним сутулым неудачником в джинсах, захлестанных грязью до самых колен. Она такая красивая, что этого просто не может быть. Невероятная. Вся – узкая и одновременно круглая. Узкая, круглая талия, узкие длинные пальцы, неожиданно тяжелая, взрослая грудь,

едва уместившаяся на узкой грудной клетке. Синеватые белки, синеватая кожа, идеальной лепки круглая гладкая голова на узкой и круглой шее. Губы такие, что стыдно смотреть. Негра. Жалкий интеллигент, я мысленно одергиваю себя за мысленную неполиткорректность, но немедленно – мысленно же – смиряюсь. Она действительно негра. Точнее просто не скажешь. Прачеловек. Идеальное существо. Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать. Арт-объект.

Секунду мы смотрим друг на друга, она – тяжело и недружелюбно, словно я представляю угрозу чему-то важному в ее жизни, чему-то особенно дорогому – может быть, сумочке или даже котенку. Я протираю очки, руки трясутся так, что самому совестно, и тяну из кармана неровно сложенный листок с регистрацией на “Букинге”. Здравствуйте, будьте так любезны, я забронировал номер... Негра не дает мне закончить. *Checkin* в тринадцать ноль-ноль. А раньше можно, видите ли, я только что с самолета, из Москвы? Нет. Москва не производит на нее никакого впечатления. Она, конечно, права. Москва давно ни на кого не производит впечатления. А можно хотя бы?.. – спрашиваю я, пододвигая ногой рюкзак.

Негра молча выходит из-за стойки и открывает мне диккенсовскую какую-то каморку, забитую чуть ли не до отказа. Диккенс – это, конечно, была такая же большая ошибка, как Лондон. Письма за 1833–1854 год. Схватил с полки не глядя; собирался – Газданова. Не судьба. Нормальные люди вообще давно пользуются электронными книгами. Негра молчит,

ждет. Юбка обтягивает ее бедра так, что поневоле думаешь о святотатстве. Тонкие сильные щиколотки, тонкий сильный запах, тонкие сильные каблуки. Нормальный человек давно бы пошутил, спросил, как зовут, пригласил выпить, ввернул бы, в конце концов, купюру с королевой. Нормальный человек вообще не приехал бы сюда на Новый год совершенно один. Я сую рюкзак к чужому туристическому барахлу и выхожу на серую мокрую улицу. Зонта у меня нет. У меня вообще ничего нет. А скоро и этого не будет...

* * *

К часу дня я едва держусь на ногах от усталости и ненавижу Лондон так, как он этого и заслуживает. Огромный, унылый, суетливый город, где никому и ни до кого нет дела. Все едят, торопятся и выпендриваются, многие – одновременно. Особенно нестерпимы фрики. Я провожаю глазами вальяжно плывущего господина, похожего на кустодиевский портрет Шаляпина – помните, тот, в огромной шубе на фоне тошнотворно засахаренной Москвы? Сходство усиливается брезгливыми брыльцами и круглой меховой шапкой. Только вместо грандиозной шубы – белый плащ, слава богу, хотя бы без кровавого подбоя. На ногах Шаляпина – резиновые вьетнамки, над ними парусят штаны нежно-розового, удивительно девичьего оттенка. Те самые панталоны цвета тела испуганной нимфы. Январь. Плюс восемь градусов. Грязно. Да

перестану я цитировать когда-нибудь или нет?! Идиотская привычка. Всё равно что грызть ногти. Или глотать волосы. Да еще и не свои, а чужие.

Через дорогу спешит тощая крыска: лиловые колготки, мослы, пельмени вместо губ. Я даже не сразу понимаю, мальчик это или девочка. Но смотрит твердо, с вызовом, как и Шаляпин во вьетнамках. Мол, городской сумасшедший здесь ты, приятель. Ты, а не мы. В толпе кто-то глубоким баритоном хвастается, что завтра улетает в Нью-Йорк на премьеру тырым-пырым-парански. Не разобрал. Вау! – откликается спутник баритона с подобострастным восторгом: оба в гангстерских костюмах, оба на ходу пьют кофе из “Старбакса”, в руках у баритона – бумажный пакет на шелковых витых ручках. Баритон заботливо несет его так, чтобы громкий лейбл, вытисненный золотом на белом, видели все. Вау, вау, вау.

Я вдруг понимаю, что именно напоминает мне Лондон. Здоровенный, самодовольный, невыносимый *Facebook Karma Ivanova*, филе палтуса (на теплой подушке из пряных трав) и *Vladimir Lischuk* сейчас на *Regent Street*. Фоточка на *Instagram* запечатлела всех троих, залайканных до блеска, безмозглых и совершенно счастливых. Хуже только “ЖЖ”. И еще “Одноклассники”. В “ЖЖ” притворяются умными. В “Одноклассниках” – молодыми. Всё это не для меня. Ненавижу выпендриваться. Не выношу социальные сети. Быть знаменитым некрасиво.

Ау? Никто не слышит? Я ведь уже говорил, что у меня проблемы с попаданием в такт?

* * *

Когда я возвращаюсь в отель, негры там уже нет. Сменилась. На ее месте сидит немолодая женщина с тонким лицом утомленного колли. Немолодая, впрочем, – это я загнул. Ей лет сорок: длинные носогубные складки, мягкие мешочки под грустными карими глазками. Ровесница. Торопливо встает, улыбается – и тут же стеснительно прикрывает рукой розовые десны, крупные, влажные, как голыши. Деревянный славянский выговор. Оказывается, мы из Польши, преподавали в Варшавском университете экономику, теперь служим тут. Кризис. Плесень маленьких надежд на руинах великой империи. *A where are you from*, пан? Ах, не может быть! Со всем никакого акцента! Мы все так скучаем по великой Советской России. Очень, очень скучаем.

Не поверите, я тоже.

Я тащу по узкой лестнице рюкзак и чувствую, как она смотрит мне вслед. Я ей нравлюсь. А мне нравится негра. Это не потому, что она молодая, совсем нет. Такие, как негра, нравились мне и в восемь, и в восемнадцать, и в двадцать пять. Всегда. Ослепительные, злые, знающие себе цену, не знающие, что те, кто готов эту цену заплатить, вечно бродят по жизни с драными карманами. Женщины-пробле-

мы. Я вырос, проблемы остались. Интеллигентная колли из Польши наверняка умна, добра и до отказа набита душевными сокровищами. Но мне нравится негра. Я в жизни не спал с такими, как она. Да что там: я с такими толком даже не разговаривал. Надо смириться, наверно, как смиряются с крапивницей. Вы любите землянику? Я – очень. Горячая от солнца макушка, затекшие коленки, эмалированный бидончик с черной облупившейся ранкой у самого дна. Квинтэссенция детства. Пахнет так, что голова кружится. Но даже от одной-единственной ягоды – каюк. Вздувшиеся пухлые расчесы, зуд, отек Квинке. Лакомство, не совместимое с жизнью. Смирись и слушай свой полонез Огинского. Я смирился.

Комната крошечная: низкие потолки, узкие окна. Клетушка. Туалет похож на тесный лаз имени шаловливой Алисы. Разве что расположен горизонтально. Если открыть душевую кабину, на унитазе уже не поместишься. Я прикидываю – и выбираю душ. Во времена Диккенса пришлось бы обливаться из кувшина. И черт меня только дернул перепутать книги! Теперь придется две недели выслушивать его нытье вперемешку с безудержной похвальбой. Вот уж кто мигом вылез бы в тысячники и собирал миллионы лайков. Чарльз Джон Хаффем Диккенс.

Британский музей – большая и бестолковая свалка. Как будто ребенок опрокинул и рассыпал коробку с игрушками. С ворованными, кстати, игрушками. Но ведь ребенок! Какой с него спрос? Я брожу среди наваленных кучей ассирийских львов и египетских саркофагов – ни логики, ни смысла, ни чувства времени. Зато можно наповал убить первый из четырнадцати дней. В одном из залов на полу прямо сидит малышня – пухлые пятилетки, похожие на маффины всех стадий выпеченности: от густо-коричневого до совсем белого, тестяного. Вон тот, самый темненький, мог бы родиться от негры. Мог быть ее сын. Я с нежностью смотрю на плюшевую черную макушку. Нет, не плюшевую даже – махровую, как полотенце. Такой миляга! Мильяга поднимает глаза и молча показывает мне толстенький средний палец.

Остальные озираются, разинув рты, слушают экскурсоводшу, которая трещит с такой скоростью, что даже я едва разбираю половину. А ведь я вообще-то синхронист. Вольный каменщик на строительстве Вавилонской башни. Привык ворочать глыбы чужой, гугнивой, едва членораздельной речи. Строить из них кружевные, осмысленные конструкции. Как правило, мосты. На большее я, к сожалению, не способен. Обычный мастеровой. Не творец. Нет, не творец. Экскурсоводша продолжает трещать, высыпая на круглые

маленькие головы сухой несъедобный горох: даты, даты, даты, каркающие имена. Сама косит на меня тревожными очками: ты кто такой? Давай, до свиданья! Чего застыл среди доверчивых лилипутов? Всё правильно, я бы тоже напрягся, если бы к моим (а уж тем более не к моим!) детям подошел какой-то мутный мужик средних лет – черт их разберет, этих интеллигентов. Что у них на уме. Уж лучше честный, старорежимный гопник. Так же смотрела тетка из опеки – всё настолько повидавшая, что уже даже не злая. Одинокий белый мужчина сорока лет традиционной ориентации, не женат, не был, не был, не состоял. Каждый пункт анкеты – клеймо. В Америке с такими данными я вообще был бы изгой. Да и у нас, честно говоря...

Вы кого хотите? – спросила тетка, привычно, как в магазине, нет – даже как родственница, интересующаяся назревающим потомством дальней родни, хотя на самом деле ей пофигу метель. И охота же людям плодить спиногрызов! Девочку, – признался я, доверчиво лыбясь, чистая душа. Я правда хотел дочку – маленькую, чтобы плести косички, расправлять воланы на платьице (сзади чтоб непременно бант). Сандалики с божьими коровками. Вереница розовых барби. Будет тянуть за штанину, смотреть снизу вверх и говорить: Папа! Тетка тихо спросила: Вы с ума сошли? Кто ж одинокому мужику девчонку-сироту доверит? И посмотрела так, что я вдруг сам перепугался, до мокрой спины, чуть ли не до рвоты, того, что я, может, на самом деле извращенец,

просто не знаю об этом, и вот теперь настал час, сработала некая программа – и маньяк внутри моего живота впервые ворохнулся, впервые шевельнул плечами, продираясь сквозь пленку моих человеческих желаний на свою омерзительную свободу.

Направление дали на мальчика. Да.

Видимо, мальчиков не так жалко.

* * *

Шаляпин в розовых панталонах, оказывается, мой сосед. Каждое утро, выходя из отеля, я встречаю его, шествующего мимо паба к вокзалу. Возле паба, кстати, частенько наблёвано: я выхожу рано, в час, когда алкаши уже разошлись по домам, а уборщики еще не появлялись. На мое приветствие Шаляпин не отвечает, и правильно делает. Как настоящий сумасшедший, он понимает истинную суть ежеутреннего *hello*, которым я спешу поделиться с ним, с газетчиком, с продавцом кебабов, с каждым, кого я встречаю на своем пути больше одного раза. Я ищу одобрения чужих людей. Оно мне необходимо. Жалкое существо... Даже юродивый это понимает. И как я собираюсь воспитывать сына? Зачем я вообще вляпался в это дерьмо? Это всё Настя виновата.

С Настей мы прожили почти год. Вернее, десять с половиной месяцев. Абсолютный рекорд продолжительности. Обычно мои отношения с женщинами не преодолевали

двухнедельный рубеж. Так и должно быть, если берешь с тарелки, которая объехала всех гостей, не то пирожное, которое хочешь, а то, что осталось. Мне доставались обломки кораблекрушения. Самые некрасивые, самые пьяные, самые закомплексованные. Иногда – всё сразу, вместе. Больше пары свиданий не выдерживали ни они, ни я. Здравствуй, грусть. А Настя задержалась – маленькая, крепкая, молчаливая. Сразу вымыла у меня посуду, даже чистую. Перетерла, расставила, замочила полотенце со стиральным порошком. Сморщенные от горячей воды кончики пальцев. Рыхлая прохладная задница. Запах *Fairy*. На вторую встречу вытянула из сумки тапочки – новые, чудовищные, круглоглазые заячьи морды. С биркой. Посмотрела тревожно – мол, не возражаешь? Я промолчал. И она осталась.

Я привык неожиданно быстро. Не к быту, нет – готовил я сам отлично, куда лучше, чем она, да и вообще привык управляться с женскими делами лучше любой домохозяйки. Но вечерами, заходя во двор, я задираю голову и видел в окнах своей двушки свет. И это, оказывается, было важно. Настолько важно, что я честно старался не замечать, что за этот почти год Настя не взяла с полки ни одну из моих книг. Не хотела? Стеснялась? Читала что-то другое и в другом месте? Или просто была обыкновенная дура? Я не знаю; мы, если честно, вообще почти не разговаривали. Да и о чем разговаривать? Сорок лет. Пора наконец принимать взрослые решения.

Я купил букет, бутылку хорошего вина, подумал – и прибавил порто, темный, в крепкой увесистой бутылке: Настя любила всякую сладкую дрянь, тошнотворные ликерчики, гнусные крепленые вина – пусть наконец попробует хоть что-то по-настоящему хорошее. Подлинное. Я имел в виду себя, конечно. Идиот. Знаешь что, а выходи-ка ты за меня замуж? Ребеночка родим. Залихватские ухватки приговоренного. Она выслушала, поводила пальцем по клеенке и спокойно ответила. Извини, но – нет. Ты парень хороший, но мне нужно просто в Москве пересидеть. Я замуж потом хочу выйти. По-настоящему.

* * *

Справки я собрал неожиданно быстро. На права бы так сдать – но после третьего провала с правами я мысленно распрощался. А ребенка – пожалуйста. Мальчика. Я же сказал, да? Мне дали направление на мальчика. В декабре я увидел его в первый раз.

* * *

Единственное, что делает Лондон выносимым, – это парки. Даже в январе они живые. Полно птиц, собак, детей. Народ стрекочет велосипедами, уничтожает сэндвичи. Диккенс

бы сказал “уплетает”. Он не нравится мне всё больше, но я терплю. Давным-давно следовало бы купить что-нибудь вмещающее – умный детектив фунтов за пятнадцать: англичане делают отличные детективы и отличный сыр. Больше у них ничего хорошего нету. Но я загадал дочитать эту чертову переписку до конца, продрасться сквозь несносную похвальбу, сквозь все причитания о международном авторском праве и покойной Мэри. Диккенс – это моя клятва. Я даже по улицам таскаю его с собой. Если выдержу – значит, всё получится как надо. Значит, его не заберут. И мой мальчик достанется мне.

По-честному, я видел его всего раза три – и не очень хорошо запомнил, потому что ужасно волновался. Мальчик и мальчик, трех с небольшим лет. Худенький. С некрасивой громадной головой в каких-то странных шишках, точно его колотили. Грудного я, честно говоря, побоялся. Я и этого-то боялся, но все-таки три с половиной года. Забуду покормить – сам, наверно, справится. Буду оставлять побольше хлеба, конфет – так, чтобы легко дотянуться. А ножницы – наоборот, убрать. И ножи. Все. У меня холодеют и мокнут ладони, когда я представляю себе, как он обрежется. Обольется кипятком. Упадет с лестницы. Нет, еще хуже: я возьму его на руки, споткнусь – и упаду сверху, всей тушей. Я физически чувствую хруст переломанных маленьких костей, болтается запрокинутая голова, скорая – нет, скорую не дождешься, пробки, я бегу в больницу сам, чувствуя, как бухает в груди

нетренированное сердце.

Дверь, дверь, приемный покой.

Поздно, конечно.

Умер. Умер.

Я останавливаюсь, и меня рвет – белой, густой, горькой пеной, как будто я бешеный. Прямо на улице, в центре Лондона. Двенадцатого января. Шарахаются во все стороны прохожие. В глазах у многих – боязливое и брезгливое уважение: это надо же так нажраться в середине дня! Я ищу по карманам платок, потом вырываю страницу из Диккенса и вытираю липкий рот. У меня еще есть надежда. Через два дня я позвоню, и мне скажут, что мальчика забрали другие, нормальные, хорошие, взрослые люди. Которые знают, что делать. Которые знают как. Пусть мне так скажут, господи! Пусть. А еще лучше – я сам не позвоню. Спрячусь, сменю фамилию. Уеду. Квартиру можно продать.

В конце концов, я еще не брал на себя никаких обязательств!

* * *

Вечером в отель пришел кот. Толстый, круглый, с толстым круглым хвостом. Встал на задние лапы, сунул морду в стеклянную дверь, беззвучно мякнул. Вроде постучался. Полячка заахала, засуетилась, побежала открывать, словно кот был долгожданный клиент, выкупивший весь отель на полжизни

вперед. Негра бы так не бросилась. Я видел ее пять раз. И ни разу не заговорил. Полячка извлекла из-под стойки пакет с кошачьим кормом, миску. Кот ждал с достоинством, которое и не надеешься встретить в человеке. Потом подошел к миске и деликатно захрустел. Вот, – сказала полячка. – Невероятно умный. Здесь десять отелей, представляете? Он обходит все. Каждый день? – не поверил я. Нет, – засмеялась полячка. – Не каждый. У нас он бывает только по средам и пятницам.

И тут я неожиданно спросил – а у вас есть дети? Она покраснела и засмеялась так, что забыла, что нужно прикрывать свои ужасные десны. И сразу стало ясно, что двадцать лет назад она была очень даже ничего. Почти хорошенькая. Конечно, есть, – сказала она. – Конечно. Сын, дочка. И даже внук. А как же иначе?

Действительно, как же иначе?

* * *

В первый раз его вывели ко мне на улицу в комбинезончике, круглого, валкого, как кегля. Сказали, вот, Витя, погуляй с дядей, и я огорчился, что имя такое плебейское – Витя. И еще они сказали – с дядей, а не с папой. Значит, сами не верят. Никто не верит. Даже я сам. Мы гуляли почти час, и я сперва лез к нему с какими-то сюсюкающими вопросами, за которые сам себя ненавидел, и всё пытался заглянуть ему

под капюшон – мне показалось, что он косоглазый, и я так и не понял, так это или нет, – а он всё молчал, топал тупыми маленькими ножками, а потом вдруг осторожно взял меня за руку. Я даже остановился от страха, а потом почувствовал, что страшно устал, так что едва добрал до ближайшей скамейки и просто рухнул. Он посидел рядом – тихо, чинно. А потом пошел и принес мне кленовый лист. Надорванный, некрасивый, с отпечатком чужого человеческого копыта. Я выкинул его сразу же, как вышел за ворота.

Такие дела.

* * *

Сегодня я наконец-то дочитал Диккенса. Сплетник и самовлюбленный неврастеник. Называет детей – своих собственных! – милые малютки. Или это переводчик идиот? Надо посмотреть в Москве, как там в оригинале? Может, не так всё и плохо. Когда-то в школе я помирал со смеху, читая “Домби и сына”. Разве Джой Б. – брюква? Больше не помню из этой книжки ни одного слова. Значит, больше там ничего и не было.

Самолет у меня в 23:20, *check out* в отеле – в 12:00. Дождь. Еще одного дня в Лондоне, на ногах, я просто не вынесу. Завалиться в постель, закрыть глаза, спать, пока не приедет такси. Я спускаюсь вниз – всего-навсего заплатить еще за одни сутки; полячка, наверно, даже обрадуется – мы почти по-

дружились. У нее, кстати, красивая дочь – скуластая, с крупным наглым ртом. Даже на фотографии видно, какая она замечательная дрянь.

Но вместо полячки внизу сидит негра. Золотая тоненькая цепочка стекает по ее ключицам, как струйка воды. Нет, я не могу доплатить. Нет, это не важно. Все номера в отеле заняты. Да, я могу жаловаться. Но она просит освободить комнату через двадцать минут.

Я управляюсь за пятнадцать.

Рюкзак, морось, голый облезший скверик, вокзал.

Шаляпин в меховой шапке, переступая чавкающими вьетнамками, стоит на переходе, дожидаясь зеленого сигнала светофора. Я машинально открываю рот, чтобы поздороваться, и не говорю ничего. Не дождетесь. Хватит. Надоело. Никакого Лондона, никакого Диккенса. Завтра утром буду в Москве, послезавтра – уже на работу. Счастье.

Я достаю мобильный, набираю телефон опеки. Никто не берет трубку, никто, никто, никто. Что ж, значит, это точно судьба. Верней, не судьба. Я договорился, поставил условия, очень простые. Дочитать Диккенса – я дочитал. Ответить на мой звонок – мне не ответили. И ладно. Значит, я совершенно свободен. Я прячу телефон в карман, тащу из рюкзака том переписки великого классика английской литературы и двумя пальцами, как дохлую крысу, несущую к ближайшей урне. Шаляпин и продавец кебабов смотрят на меня с интересом. Я мысленно считаю шаги: один, два, три. Я свою часть

ритуала выполнил. Сдержал, как у Пантелеева, свое честное слово.

Облегчение лезет из меня, как пена из сифона. В детстве у нас был такой сифон – круглый, серый, сипатый. Баллончики к нему были страшным дефицитом. Не достать. Только теперь я понимаю, как это здорово – не бояться. Не бояться, что придется не высыпаться ночами. Вытирать ему попу. Не бояться будущего, в конце концов. Того, что, несмотря на все мои усилия и муки, гипофиз возьмет свое, сработает проклятый вейсманизм-морганизм, и этот чужой некрасивый мальчик вырастет полиграфом полиграфычем шариковым, наркоманом, человеческим мусором и сбежит из дома в четырнадцать лет. Это вообще было обычное помрачение ума. Временное помешательство. Теперь я здоров.

Я бросаю Диккенса в урну – со всем его культом сиротства, газетными ухватками, невыносимым характером. Всю жизнь притворялся добрым, а сам издевался над бедным Андерсеном. Так покойся же с миром. Аминь.

Светофор мигает. Я поправляю рюкзак.

И тут у меня в кармане звонит телефон.

Тарасов Олег Анатольевич?

Да. Это я.

Тарабабабабаева, – не разобрал, – из чего-то там, – опять не разобрал, – беспокоит. Можете завтра забирать ребенка.

Какого ребенка?

Вашего.

Светофор горит таким зеленым, что больно смотреть.

Шаляпин легонько толкает меня в спину и недовольно бурчит – ну, чего пристыл?

Я смотрю, как он переходит дорогу, заметно прихрамывая: безумный дикий барин в розовых панталонах, потрескавшиеся грязные пятки, сутулая спина – как будто в будущее свое смотрю. И вдруг понимаю, что Шаляпин говорил со мной по-русски.

Я возвращаюсь к урне, вынимаю из нее Диккенса и догоняю Шаляпина до того, как он сворачивает в переулок.

– На, – говорю я тоже по-русски и протягиваю книжку ему. – Держи, отец. Это тебе.

Боярышник

Слово, которое я первый раз в жизни читаю вслух, – “мёд”.

Банка стоит на кухне – литровая, перевернутая, вся в солнечных липких наплывах. Остатки мёда торжественно стекают по стеклянным бокам в заботливо подставленную пластмассовую крышку. Все до последней капельки. Мёд – дефицит. Я его не люблю. Мёд означает простуду, окрашенную в тревожные, праздничные тона: розовый тетрациклин, голубой больничный листок, багровый жар воспаленного горла. По горячему белому молоку плывут желтые медово-масляные разводы. Ухо стреляет ярким, лиловым, грозовым. Я рыдаю, отбрыкиваюсь от маминых проворных рук, нападающих со всех сторон с капельками, компрессом, стареньким пуховым платком. Примиряет меня с простудой только камфара. Она хорошо пахнет, по-летнему – сухо, жарко, и на самом дне этого горячего аромата стрекочут тоже горячие температурные сверчки.

МЭ. ЙО. ДЭ.

Тут написано “мёд”?

Мама оборачивается – невысокая, легкая, молодая. Руки у нее в фарше, фаршем полна миска – много-много красно-белых пухлых червячков. Я люблю котлеты (с соленым огурчиком), папа – суп с фрикадельками, старший брат – пельмени.

Мама успевает приготовить для всех. Она вообще всё успевает: делать ремонт, стирать, два раза в день мыть полы и работать на полторы ставки. Мама – врач в медсанчасти. Как она скажет, так и будет. Это я знаю твердо. Все знают. Мама в доме главная. Зато папа защищает всю страну. Он офицер.

Тут написано “мёд”? Я показываю на банку пальцем, хотя меня уже убедили, что это неприлично.

Ты откуда знаешь? Тебе баба Маня сказала?

Баба Маня – наша соседка. Когда меня не с кем оставить, бабе Мане стучат прямо в стенку и она прибегает, сухенькая, востроносая, шустрая, крепко пахнувшая потом, кислой капустой и рыбным пирогом. Пирог баба Маня делает с тюлькой. Тюльки, поджав ротик, смотрят из теста – каждая одним испуганным круглым глазом. У них даже хвостики целые! Мама не ест, брезгует, а мне вкусно. Бабе Мане сорок пять, и я очень ее жалею: такая старая. Мама дает ей рубль и говорит: “Посидите с ребенком, пожалуйста”. Посидеть – это просто такое слово. На самом деле мы с бабой Маней не сидим, а ползаем – по ковру, потом за креслами и снова по ковру. Играем в скорую помощь. Когда баба Маня устает и сдается, я делаю ей операцию. Аппендицит! Это мое любимое слово. Когда я вырасту, тоже обязательно буду врачом.

Нет, не баба Маня. Это я сама прочитала.

Мама хмурится. Не верит. Мне четыре года, я давно знаю все буквы, очень давно. С полутора лет. Но читать меня никто не учил. Бабушка считает, что учиться читать так рано –

вредно. Бабушка – учительница и потому главнее мамы. Летом, когда меня отвозят к бабушке, мама слушается ее так же, как я. Даже еще лучше. С бабушкой не забалуешь. У нее губы в нитку, и она ни разу в жизни меня не поцеловала.

Пойдем. Мама моет испачканные фаршем руки под краном и вытирает их – тщательно-тщательно. Пойдем и проверим.

И мы идем.

В нашей с братом комнате очень много книг. И во всех остальных комнатах – тоже. Мама стоит, нахмурясь, по щиколотку в щекотном солнечном свете. Март. Окна еще заклеены, но ликующее воробьиное чириканье уже прорывается сквозь двойные рамы, стянутые лейкопластырем. Между рамами лежит посеревшая за зиму вата – для тепла. Мама берет с полки “Колобка”. Нет, это ты наизусть знаешь. Лучше вот эту.

Мама сажает меня на кровать и сует в руки книжку. Большую. Очень большую. “Сказка о Золотом петушке”. Я знаю в ней наизусть только картинки – очень красивые.

– Читай, – говорит мама. – Раз умеешь – докажи.

И – р-раз – вкусно, с хрустом открывает книжку, как будто разламывает пополам пирожное безе. Мне и брату. Я смотрю на гладкие страницы. Открылась как раз моя любимая картинка – с шамаханской царицей. Царица такая красивая, что я заляпала ее повидлом из пирожка. Не нарочно. Просто разинула рот от восторга. Я смотрю на подсохший коричне-

ватый потек на царицыном шатре. И еще один – точно такой же – на другой странице. Если поскрести ногтем и облизать – будет сладко. Призрак прошедшей радости.

Ну же, – говорит мама. – Читай. Или не хвастайся без дела. Ты же знаешь, я терпеть не могу брехни.

Я переворачиваю книжку вверх ногами и начинаю, аккуратно переваливаясь с одной неловкой буквы на букву, выводить:

И. СИ. ЙА. ЙА. КА. АК. ЗЫ. А. РЯ.

А вместе?

Мама смотрит на меня, напряженно хмурясь. Она всё еще не верит, но уже готова сдать, как в цирке, когда фокусник прямо у тебя под носом сшивает из быстрого воздуха самую настоящую скрипящую атласную ленту, которую ты только что самолично разрезал тяжелыми ножницами. Тоже настоящими. Каждому хочется верить в чудо. Маме тоже.

Я поднимаю на нее глаза и повторяю:

Иси яя какза ря!

И что это значит?

Это значит красивая, как солнышко!

Мама подхватывает меня на руки и смеется:

Вот молодец! Кто тебя научил? А книжку зачем переворачиваешь?

От маминых вопросов щекотно, и я тоже смеюсь. Меня никто не научил. Я сама. Буква просто тянет за собой другую, как будто переводит за ручку через улицу. Иногда улица

длинная, иногда короткая – называется “стихи”.

– А вверх ногами почему?

Это еще проще. Вечерами я сижу на диване напротив брата и с обожанием смотрю на его белую макушку. Брат светлый-светлый, как молоко, а у меня волосы совсем темные. Мама говорит, что, когда мы оба вырастем, станем одинаковые, русые, но я не очень верю. Перед братом – книжка, он уже большой, учится в школе, и я люблю его больше всего на свете. Даже больше, чем маму и папу. Брат лупит меня, не пускает в комнату, таскает за волосы, дразнит Марлиндой – но я всё равно выйду за него замуж, когда вырасту. И когда стану врачом.

Я читаю ту же книжку, что и брат, только перевернутую. Читаю вверх ногами, быстро (куда быстрее, чем как надо) и сразу про себя, потому что, если бубнить вслух, получишь по заднице. Брат свое слово держит: по заднице я получаю часто. Сам он бубнит как раз вслух – он учит пушкинского “Пророка”, которого я понимаю через слово, даже через два, но мне очень, очень нравится. “И он к кустам моим приник!” Я тоже ползаю за братом по кустам – подглядываю, как он с большими пацанами играет в ножички и в дурака, – поэтому вполне разделяю энтузиазм шестикрылого серафима.

Серафим – вообще мой любимый герой. Я рисую его в альбоме (у меня есть альбом!), а потом на обоях в родительской спальне. Серафим длинный, как такса, и крылья грозным гребнем торчат у него вдоль спины, одно за другим.

Внизу я пририсовываю лапы – их тоже шесть, чтобы серафиму было удобнее держать равновесие. Голова у серафима круглая, словно шар, и вся в тугих пружинках, как у Пушкина. Пушкина я тоже знаю. Это он придумал серафима. И шамаханскую царицу. Еще Пушкин придумал про рыцарей, они воюют вместе с серафимом. Я в них играю. Ивиждь! – выкрикиваю я грозно, нападая на подушку. – Ивиждь! Ивнемли! И рыцари нападают вместе со мной, так что подушка отвечает испуганными пыльными вздохами.

Мама сердится – опять обои испортила! – и смеется, когда я объясняю ей про серафима и про рыцарей. Ты еще маленькая; если будешь читать всё подряд, ничего не поймешь и голова зарастет сорняками.

Сорняков я боюсь, поэтому читаю не все подряд книжки, а через одну. Мои две полки – нижние. Книжки на них большие, яркие. Я их давно все знаю, многие даже на память. Неинтересно. Поэтому я пробираюсь в большую комнату (там вообще нет детских книг), лезу на кресло и дотягиваюсь до одинаковых томиков, которыми тесно уставлены полки. Во всю стену! Книжки толстые, отличаются только по цветам и называются “собрания сочинений”. Я тоже люблю сочинять, бабушка называет меня “тыща слов в минуту” и огорченно говорит маме – разбаловала ты ее, больно умная. Хотя на самом деле мне нисколько не больно.

На полке, до которой я достаю, только черные книжки и синие. Называются “Горький” и “Чехов”. С марта до августа

я прочитываю их все не подряд, а через одну (сорняки!), а потом снова через одну, но в обратном порядке, и ровные мелкие буквы похожи на мак из булки – такие же круглые и поскрипывают. Одну книжку (черную, горькую) я даже затрепала, но пока никто не заметил. В ней про сокола и ужа, очень торжественно, но не стихи. Ужа я ужасно жалею. Он спал на сырых камнях (очень вредно!), а потом упал и ушибся. Сокола мне тоже жалко, но меньше. Он умер, а в книжках это невзаправду. И вообще невзаправду. Дедушка тоже умер, и ничего не произошло. Я его даже не помню. Когда умер, уже ничего нет. Это не страшно.

Я читаю Оксанке про ужа – и она слушает, поджав круглый, как у тюльки, рот. Оксанка живет на втором этаже. Мы – на первом. Она старше меня на два года и умеет сидеть, как лягушка, распластав по полу колени и уставив пятки в разные стороны. Зато я умею читать. Оксанка – нет. Мама у нее работает в школе для дураков, а папа не настоящий. Отчим. Смешное слово, как будто ириской чавкнули. Отчим Оксанки тоже смешной – ушастый. А в школе для дураков – одни дураки. Мама сказала, что тебя тоже возьмут, если читать не перестанешь! – грозит Оксанка мстительно, и я чувствую, как к горлу медленно поднимается круглый, горячий, красный рев. Дураков я знаю. Их выводят гулять за острым черным забором, и дураки, выстроившись парами, покорно вышивают по дорожкам круги и петли, пока головы их зарастают высокими шуршащими сорняками.

Оксанка какое-то время с удовлетворением наблюдает, как я жую нижнюю губу, чтоб не тряслась, а потом сжаливается.

Пошли, – говорит она. – Пошли, чего покажу!

И мы идем.

Только недалеко, – ною я по дороге. – Ладно? Мама не разрешает далеко, я обещала. Оксанка даже не смотрит на меня – так ей противно. Ей-то разрешают куда угодно – она даже на автобусе ездила одна, только ее быстро ссадили. А я в автобусе вообще ни разу в жизни не была – у нас машина, и я ее ненавижу, потому что внутри воняет бензином. Мама всегда дает мне с собой в дорогу соленый огурец и целлофановый мешочек. И огурец никогда не помогает, а мешочек – всегда.

Оксанка приводит меня за школу, и я успокаиваюсь. Школу видно из нашего окна. Это правда недалеко. Мама не будет ругаться. Школа белая, длинная и без забора, потому что не для дураков. Сюда ходит мой брат, и меня тоже отдадут – через два года. Или через год. Я сама слышала, как бабушка и мама ругались. Мама говорила – да что ей делать в первом классе? Она же со скуки там помрет. Надо сразу во второй, а то и в третий. А бабушка отвечала, что это непедagogично по отношению к другим детям и что я буду самая младшая в классе, а это грозит проблемами в пубертате. Проблемы в пубертате, – бормочу я восхищенно. – Проблемы в пубертате! Звучит таинственно, как туманность Андромеды. Эту

книжку я тоже читала. И Таис Афинскую. И мамин “Справочник практического врача”.

Оксанку отдадут в школу уже через месяц, первого сентября, но она бегает сюда каждый день всё лето. Осваивается. Я покорно плетусь за ней и всё время боюсь. Я вообще всё время боюсь. Брат дразнит меня трусихой. Это правда. Но за школой – ничего страшного. Самая обычная спортивная площадка. Тишина. Остовы пустых ворот, перед ними вытоптано до глины. Вокруг площадки – заросли, непроходимые, густые, я туда не хочу, но лезу следом за Оксанкой, спотыкаясь о какие-то коряги и ржавые консервные банки. Вокруг пронзительно звенят насекомые, пахнет мокрым, горячим, зеленым и в самой чаще торчит скелет трехколесного велосипеда. У меня велосипеда нету. Мама боится, что я упаду с него и расшибусь. Как уж из книжки.

Оксанка останавливается так резко, что я тыкаюсь лбом в ее спину – расцарапанную, сутулую, перечеркнутую лямками ситцевого сарафана.

Боярышник, говорит Оксанка торжественно, и я сразу его вижу – как будто Оксанка сказала волшебное слово, от которого боярышник проступил на свет. Боярышник красный. Нет. Красновато-коричневатый, спекшийся. Огромный куст.

Ой, даже два. Крупные ягоды присобраны в кисти, похожие на кошачьи лапки. Вот-вот приподнимет и закогтит. Я тянусь за нижней веткой – и ахаю. Действительно когтит. Боярышник колючий! Оксанка смеется. Небось в книжках про

это не написано. Крыть мне нечем. Ивиждь и Ивнемли, уж, сокол и даже серафим кажутся рядом с боярышником ненастоящими. Оксанка срывает целый пучок ягод, высыпает их на мою подставленную ладонь – мягкие, полураздавленные, сахаристые. Я трусливо трогаю одну ягоду языком. Сладко.

Они не ядовитые?

Я с подозрением смотрю на Оксанку. С нее станется. Один раз она велела мне открыть рот и зажмурить глаза, а сама плюнула. Было противно. А другой раз сняла во дворе перед мальчишками трусы, и они испугались и убежали.

Не ядовитые, дура!

Я всё еще чую подвох. Боярышник слишком красивый. Это явно опасно. Волчьи ягоды тоже красивые, даже еще лучше, – алые бусины сидят на листе парами, прижавшись друг к другу, насквозь прозрачные, наливные, до отказа полные неотразимой гибелью. Их нестерпимо хочется покатать во рту или хотя бы облизать, как мамины янтарные сережки.

Подавишься! Засоришь животик – и будет аппендицит! Съешь – и немедленно умрешь!

Красота, как будто нарочно, накрепко зарифмована с опасностью.

Оксанка срывает еще несколько ягод боярышника и сует в рот. Она чавкает – не потому что дразнится, а потому что не умеет есть красиво. Мама – когда Оксанка у нас в гостях – кормит нас с ней ужином отдельно. Потому что папа – я сама слышала! – сказал, что это просто невозможно, честное

слово. Меня или стошнит, или я ее выпорю. И вообще, она к себе домой уходит когда-нибудь или нет? Я умею есть красиво, это несложно. Надо просто жевать задними зубами и с закрытым ртом. Всего и делов.

Оксанка привстает на цыпочки и начинает объедать боярышник прямо с ветки. Ртом.

Я наконец решаюсь и аккуратно подбираю ягоды с ладони.

Боярышник вкусный. Правда, внутри он набит противными шерстяными семечками, от которых чешутся губы, но Оксанка в два счета научает меня сплевывать их на землю. Это здорово! Через час мы уже не можем есть и просто сидим под огромными кустами, держась за руки и заливаясь смехом. Смех без причины – признак дурачины. Я еле выговариваю любимую бабушкину фразу – и мы с Оксанкой валимся друг на друга, вялые, горячие, совершенно обессиленные хохотом. Дурачины!

Наконец Оксанка вытирает мокрые глаза, передергивает тощими плечами, поправляет бретельки, и встает.

Пошли домой, а то влетит.

Я честно пытаюсь подняться – и не могу. Жара кружится возле моей головы с низким жужжанием.

Это какая-то очень жаркая жара. Я зажмуриваюсь, но всё равно вижу, как листья вокруг смыкают резные края, словно пытаюсь собраться в непроницаемую головоломку. Оксанка, говорю я, давай одну минуточку поспим, всего одну минуточку, – но Оксанка не слышит, и я сама не слышу, и только

что-то катается внутри моей головы: бух, бух, бух, всё медленнее и медленнее. Сон без причины. Признак дурачины. Но Оксанка не смеется.

Вставай, ты чего, – просит она. – Ты чего? Вставай!

Оксанка тянет меня за длинную, длинную, страшно длинную руку. И я в первый раз в жизни слышу в ее голосе страх. Расходится клубами. Как будто в стакан с чистой водой опустили запачканную черным кисточку и быстро-быстро взболтали.

Дура! Дура чертова! Дебилка! Коза!

Бум, – отвечает шар в моей голове, и я засыпаю.

Когда я в следующий раз открываю глаза, передо мной – дверь. Наша. Синяя. Дерматиновая. Собака породы дерматин. У меня собаки нету. И кошки тоже. Только красная игрушечная лошадь. Конь-огонь.

Оксанка, громко всхлипывая, звонит в звонок.

Дзы-дзы-дзы!

Медленный шар внутри меня докатывается до невидимой стенки и невольно откликается: бух.

Оксанка поворачивается, и я понимаю: она плачет.

Ключи! Где ключи, дура?!

Я ложусь на коврик и закрываю глаза. Ключи подо мной. Я чувствую их боком. Маленькие и твердые.

Оксанка изо всех сил пинает меня ногой в босоножке. Босоножка белая, стоптанная, растрескавшаяся. Время заносит ее, пудрит Оксанкины пальцы, поджавшиеся от ужаса, слов-

но она вот-вот сорвется с насеста и полетит куда-то в воющую глубину. Баба Маня говорит неправильно: “нашест”. У шестикрылого серафима тоже должен быть нашест, понимаю я. Иначе как же ему спать, бедному? Я представляю себе огромный курятник и уходящие до самого горизонта ряды крыльев и кудрей, крыльев и кудрей, крыльев и кудрей.

Оксанка плачет громко, некрасиво, навзрыд и еще раз пинает меня маленькой перепуганной ногой.

А мне не больно. Курица довольна.

Ивиждь, Ивнемли!

Дура! – снова кричит Оксанка где-то далеко-далеко.

И босоножка убегает.

А потом я вижу маму. Она идет на работу. Нет. Она несет меня на работу.

Сначала медленно, потом бежит.

Мама держит меня на руках, и я вижу свою макушку, и болтающуюся ногу, и синие губы. Солнце надо мной и мамой – оранжевое. Оранжевое небо. Оранжевый верблюд.

Оксанка бежит за мамой, как собачка, то отставая, то догоняя, и плачет, растянув большой редкозубый рот. Среди других играющих детей она напоминала... напоминала...

Что вы делали? – мама вдруг кричит громко, так громко, что я открываю глаза.

Ивиждь!

Боярышник, – рыдает Оксанка.

Мамины губы снова движутся, но я больше ничего не слы-

шу. Сорняки шуршат у меня в голове, разрастаясь, сочные, черные, и в них наконец-то запутывается шар.

Бух! – говорит он в последний раз.

И больше не катается.

Ивнемли!

Ибо. Гаглас. ИБО. ГАГЛАС.

И бога глас ко мне воззвал.

Боярышник! – снова повторяет Оксанка, и я вижу шестикрылого серафима: на самом деле он розовый, с жуткими, как у шамаханской царицы, громадными глазами.

И бога глас ко мне воззвал!

Глас бога ревет и воняет бензином.

В медсанчасть! – кричит мама водителю, которого я уже не вижу. – В медсанчасть!

Серафим наклоняется ниже, ниже – и я замечаю у него в лапах литровую банку, полную липкого сияющего света.

Мёд, – читаю я старательно. – Мёд!

И шестикрылый серафим улыбается.

Бедная Антуанетточка

Она еще не закончила школу, а ее уже называли в набитых, как авоськи, одышливых трамваях “женщина”. Женщины, передайте на билетик, пыжалста! И на полуслове замолкали, недоуменно утыкаясь глазами в коричневое школьное платье с полукружьями белесого пота под мышками, полосатые гольфы, толстые расцарапанные коленки. Ну и корова вымахала. Извини, девочка. Ничего-ничего.

Какое-то время бедная Антуанетточка тайком плакала по темным, чуть подплесневелым углам огромной старой квартиры, объявляла бессильные голодовки, с ненавистью щипала себя за жирные складки на животе и даже перед сном с жалким детским отчаянием просила каких-то смутных сказочных святых смилостивиться и – в виде исключения – совершить одно-единственное, самое маленькое чудо. Но наутро бессердечное зеркало снова отражало всё тот же сально блестящий бугристый лоб, очки, бесцветные брови.

Однажды – в минуту невыносимого подросткового отчаяния – Антуанетточка даже выпила упаковку бабушкиных таблеток от давления, но сама же первая испугалась и долго глотала в ванной теплую воду с марганцовкой, давясь, выхаркивая в хриплый подтекающий унитаз полурастаявшие желтые облатки и все-таки самым краем слепого слезящегося глаза замечая, какими чудесными, причудливыми лило-

выми клубами распускаются в литровой банке не до конца растворившиеся кристаллики калия марганца о четыре.

Никто так ничего и не узнал об этом глупом, полузанесенном песком и временем случае. Никто ничего и не узнает. Антуанетточка поняла это, распухая, кашляющая, перепуганная, вцепившаяся обеими руками в содрогающееся, немеющее горло. Надо учиться жить, приспособливаться. Ты думаешь, кому-нибудь легко? Всем сейчас трудно. И мне. И тебе. А бабушке, царствие ей небесное? И вообще, жизнь прожить – не поле перейти, – объясняла вечерами мама, торопливо сдергивая с головы колючие розовые валики стареньких бигуди и невнятным сдобным голосом цитируя совершенно неведомого ей Пастернака. И от этой никем не узнанной, оборванной цитаты, от быстрого сухого звука, с которым не нужные больше пластмассовые ежики летели в картонную коробку из-под давно сношенных туфель, и от запаха томящейся под крышкой жареной картошки было как-то особенно грустно.

Напоследок мама быстро красила перед зеркалом губы, сильно напрягая подбородок и изумленно вскидывая круглые карие брови – словно не понимая, откуда у нее, свежей, как кочан едва подбитой морозцем капусты, аппетитной хохотушки, такая мрачная и – будем откровенны – абсолютно, ну просто ап-са-лют-на непривлекательная дочь. И в кого ты у меня такая? – в очередной раз вслух удивлялось зеркало, уже готовое, праздничное, яркое, как салют: алое платье,

розовые ногти, лиловые губы, – крепко надушенное бодрой граненой “Красной Москвой”, – и дверь облегченно хлопала. Бедная Антуанетточка привычно вздыхала и, прихватив из холодильника целое кольцо смуглой краковской колбасы, плелась к своему креслу.

Возможно, всё бы вообще сложилось иначе, и Антуанетточке даже удалось бы спастись, распластавшись по сырой стене тоннеля так, чтобы судьба, грохоча и роняя каленые искры, пронеслась мимо – дальше, в пустоту, неизвестность, в бледный предутренний туман. Ведь была же в ней, в конце концов, неприлично здоровая кровь ее неприлично здоровой матери, которой до сих пор свистели под окном солидные работяги в серых добротных кепках, слегка опухшие и лилово, картинно – до самых глаз – небритые, словно угрюмые октябрьские баклажаны. И Антуанетточкина мама прекрасным молодым голосом кричала из-за шторы: Иду! Иду, золотко! – и беспокойными пальцами проверяла крепко скрипящие капроновые икры (на пятке опять поползло, ну что ты будешь делать!) – и работяги снова свистели, грозно, ликующе, требовательно, словно соловьи-разбойники местного, микрорайонного разлива, и мама, мгновенно отразившись в зеркале, обреченно, освобожденно улетала на этот свист – крупная, торжественная, шелковистая, словно торопящийся к солоду и пиву набоковский лакомка-бражник или иная ночная бабочка редкостной породы.

Всё было бы иначе, если бы не огромное пыльное кресло,

в которое Антуанетточка медленно погружалась всё глубже и глубже, придавленная, одурманенная, с очередным растрепанным библиотечным томом на уродливо перезрелых колленках.

Пока не достигла самого дна.

Бедная Антуанетточка и сама не заметила, когда свет и тепло настоящей, живой жизни перестали проникать сквозь густую, полупрозрачную толщу прочитанных ею книг. Да и что было Антуанетточке до настоящей, живой жизни? Медленная, одинокая, безмолвная, она неторопливо парила в питательном бульоне сумеречных литературных иллюзий, иногда – после инородного окрика: Аня, вынеси мусорное ведро! Антонова, к доске! Анита Борисовна, вас к директору! – тяжело поднимаясь на ненавистную поверхность, где никто, никто не знал, что под толстой броней чудовищной плоти бедной Антуанетточки, за ее выпученными рыбьими очками есть, как и было обещано, и цветущий сад, и сумерки, и ворота дворца.

Никто никогда не хотел с ней дружить. Не то что бы среди других играющих детей... Словом, ни лягушки, ни пустые горшки были тут абсолютно ни при чем. Просто бедная Антуанетточка совсем не умела быть живой. Хрупкая детская лопаточка звонко лопалась в тяжелых нежных антуанетточковых лапах – ало-сахаристая на сломе, как переспелый краснодарский помидор, – и таким же алым надтреснутым ревом наполнялись глотки соседских девочек, малень-

ких кудрявых кукол в платьицах, похожих на букеты и облака. На отчаянные детские крики прибегали перепуганно вквохчущие мамыши, на мгновение затмевали головой грозно налившееся солнце, и еще через минуту бедная Антуанетточка уже сидела в осиротевшей деревянной раме песочницы, совсем одна среди полурастоптанных песочных куличиков, дрожащего воздуха и липкого тополиного пуха. Что это ваша Анечка всё одна и одна? Ребенку необходимо проявлять себя в коллективе. Да вы знаете... Аня, не стой столбом. Иди к девочкам – не видишь, взрослые разговаривают!

В школе бедная Антуанетточка, несмотря на чудовищный груз убитых и полупереваренных ею книг, училась плохо: вечно сонная, мятая, закисшая, заливающаяся пятнами огненной, болезненной красноты. Никакая. Ее старались вызывать пореже – она вставала с медленным сырым вздохом, угрюмо глядя в сторону захватанными линзами; тесное платье немилосердно резало под мышками, в щеку звонко впечатывался мокрый катышек жеваной бумаги. Бедная Антуанетточка привычно, как муху, смахивала его и молча опускалась на скрипнувший стул – преодолевая мрак, океан, выюгу.

Садись, Антонова. Плохо. Опять двойка.

Может быть, всё дело было в отце? Ведь был же у бедной Антуанетточки и отец, черно-белый, настенный, искусно обрамленный деревянной рамочкой и навеки приплюснутый сверху леденцовым зеленоватым пластом не очень качественного стекла, вечно залитого то полуденным солнцем, то

пятирожковым светом ужасной люстры с мутноватыми гранеными висюльками. Так что бедная Антуанетточка, задирая к стене оснащенную визгливым капроновым бантом голову и благоговейно ковыряя пальцем стенную побелку, была вплоть до старшего детсадовского возраста уверена в том, что огненный мрачный лик с наспех набросанными скулами и демоническими провалами вместо глаз – это и есть ее папа, злодей и полярный летчик, пребывающий в бессрочной командировке в стране настоящего северного сияния.

К третьему классу средней школы у фотографии прорезался щедрый лоб с легкими политкорректными залысынами, насмешливые твердые губы и полосатый галстук, завязанный чуть-чуть – самую малость – вольнодумным узлом. Командировка к тому времени давно стала скоропостижной – и угол портрета украшал маленький черный бархатный бантик, споротый мамой с устаревшей бабушкиной шляпки и потому сидевший на рамочке со всей неуместной легкомысленностью кокетливой женской вещицы. Когда бантик запылится до пепельной пушистости и утратил даже намек на былую траурность, четырнадцатилетняя Антуанетточка взгромоздилась на сдавленно ахнувшее кресло и решительно сняла отца со стены. Неаккуратно вскрытая маникюрными ножницами рамочка обнаружила мутноватый снимок смазливового мужчины средних лет с выразительным партийным подбородком. Типографская надпись на обороте сдержанно сообщала: “Артист Омской государственной филармонии

Ю.Н. Абрамов”.

Северное сияние яростно и прощально полыхнуло на горизонте, на миг высветив остов погибшего самолета, навеки впаянный в полупрозрачную, как леденец “Театральный”, вечную мерзлоту – и бедная Антуанетточка, всхлипнув, сунула бесстыдную фотографию в щель между пыльным подлокотником и продавленным сиденьем старого кресла – словно в заброшенный почтовый ящик на окраине вымершего городка. На деревню, папочке, Ю.Н. Абрамову.

Что ей оставалось после этого, кроме книг?

К выпускному классу бедная Антуанетточка вдруг жадно – и всё так же неведомо для окружающих – увлеклась историей, особенно восемнадцатым веком, жестоким, пудренным, капризным... И в таком случае пересекаются в точке экстремума, – наждачным голосом объясняла сухопарая математичка, перекрикивая надсадно гудящую в матовом плафоне муху, и бедная Антуанетточка прикрывала влажные веки, внутри которых крохотным огненным шаром вздувался дворцовый переворот, сладко пахла пачулями и кровью насквозь пронзенная шпагой записка и графиня с изменившимся лицом бежала к пруду. Антонова, очнись. Опять спишь на уроке! Что я сейчас сказала? Повтори...

Но страсть была сильнее бедной Антуанетточки. Историк, бритый язвительный старик, похожий на гипсовый бюст Вольтера, едва ли не единственный на свете человек, догадывающийся, какие черные звезды разрываются в груди неук-

люжей слоноподобной девочки с четвертой парты (первый ряд, облупленный подоконник, солнце, распятый за окном тополь, городская свалка, полдень, конец тысячелетия, тоска), искусно науськивал Антуанетточку на будущий вуз, суля неясные и сладкие перспективы, гробовую тишину читальных залов, гранитный хруст контрабандно пронесенного с собой печенья, первую публикацию, последнюю монографию, зеленую лампу, почтительный некролог.

От неожиданно прояснившегося будущего бедная Антуанетточка даже ненадолго и как-то болезненно ожила – словно кто-то мягкой ловкой рукой навел резкость на окружающие ее чудовищные вязкие тени, и из привычной серой мути выплыла вполне определенная, мощенная теплым желтым кирпичом тропинка, ведущая во вполне определенный, живой, человеческий лес. Вдруг оказалось, что Антуанетточка умеет разговаривать, торопливо глотая круглые гласные и пузыря слюну в уголках слабого рыбьего рта. В пятницу на истории я буду делать доклад про Марию-Антуанетту, ты придешь? Ошарашенные одноклассники – надо же, с чего это наша слониха вдруг так активизировалась?! – на секунду прерывали пулеметную болтовню, пожимали плечами, и бедная Антуанетточка спешила дальше, расталкивая тяжелыми бедрами шаткие школьные парты и давя толстыми ногами собственную робкую тень.

Так значит, в пятницу. Сорок пять минут жила бедная Антуанетточка, срываясь, горячась и громко сглатывая слова.

Кровавый призрак самой трагической в мире королевы медленно парил за ее правым плечом, туманя очки, сжимая перетруженное горло.

Всё было почти кончено, оставались какие-то жалкие дрожащие мгновения, и, наконец, упал наискось обрезанный ритуальный каменный нож, и палач в полотняном балахоне рывком выхватил из корзины отрубленную голову, чтобы показать ее ликующему народу. Голова качнулась в крепкой руке – чудовищная, крошечная, неживая, – и вдруг медленно открыла каменные веки. Это была голова несчастной Марии-Антуанетты.

Еще секунду класс был накрыт непроницаемой и яркой, как шелковая шаль, тишиной. Полуденное страшное солнце безмолвно плыло за пыльными портъерами, золотя молодые шеи, белые воротнички, проборы, пылающий дубовый паркет. Безжалостное парадное солнце восемнадцатого века. “Я вижу черный свет”, – сказал мертвый Виктор Гюго. Их штербе. Я мыслю, следовательно, я умираю.

И вдруг где-то на камчатке, в районе запыленного шкафа с методическими пособиями, кто-то не выдержал и тоненько, с подвизгом, хихикнул. Через минуту в классе хохотали все. Даже вольтероподобный историк поддался и мягко заухал, прикрывая классным журналом старческий синева-то-фарфоровый рот. Бедная Антуанетточка почувствовала, как потная волна смеха больно толкнула ее прямо под комсомольский значок, и – совершенно машинально – улыбну-

лась. Они были правы, конечно. С историей было покончено. И теперь уже окончательно и навсегда.

Всё ж, дочка, поближе к деньгам – оно спокойнее, – рассудила мама, вымешивая на кухонном столе круглое охающее тесто для яблочного пирога, и Антуанетточка поступила на бухгалтерские курсы.

Неспешное разрушение большой страны пошло Антуанетточке только на пользу: пару лет она поработала на полумертвом молочном комбинате, еще через пару лет комбинат купил оборотливый олигарх. К тому времени из Антуанетточки получилась почти безупречная счетная машина – идеально исполнительная и идеально равнодушная к итоговой колонке ровненьких черных цифр. К тому же бедная Антуанетточка не сплетничала и не бегала поминутно на лестничную клетку делать круглые глаза и обсуждать за сигаретой новую жену олигарха – молоденькую бледноволосую куклу, которая иногда приезжала на комбинат и быстро-быстро проходила коридорами, шурша шелковыми коленками и поглядывая на всех немного испуганными и невероятно живыми глазами. Бедная Антуанетточка просто не курила. И ей повысили зарплату. Потом еще раз. И – спустя некоторое время – еще.

Этого было более чем достаточно. Даже чересчур. Мама сделала в квартире капитальный и бестолковый ремонт (прощайте, простодушно побеленные стены и пузыри почерневшего линолеума в прихожей!) и даже справила себе мечту

всей жизни – монументальную каракулеву шубу с особым, безумно ценным вальковым завитком. Можно было, конечно, купить что-то посовременнее – щипаную норку (искусно собранную из лапок и лоскутков), серого козлика или даже енота. Но именно черный каракуль (полторы тысячи советских крепеньких рублей!) носила, бередя сердца потребителей, директор маминого магазина, мягкозадая стерва с мускулистым бульдожьим ртом, – и участь двух десятков дрожащих новорожденных ягнят была решена.

Шубу мама носила чуть ли не с сентября по июнь, хотя ходить в ней особенно было некуда. Мамин магазин одной прекрасной весной превратили в бутик, непрезентабельный устаревший персонал разогнали, и теперь за огромными витринами среди десятка одиноких нарядов утомленно парила стайка воздушных сильфид. И в неслышном оканье накрашенных ртов, в том, как хищно бросались они на каждого случайного посетителя, было что-то удивительно аквариумное, рыбе.

Да. Поэтому шубу приходилось выгуливать только до предподъездной лавочки с пенсионерками да до поликлиники – у мамы поджимало сердце, прыгало, как каучуковый мячик, давление. Вот климакс проклятый, – жаловалась она дверце духовки, с кряхтением вынимая из пылающего жерла сковороду котлет и тряся огненными, накаленными щеками, – никакого житья от этого климакса нету... А дура-докторша одно знает: холестерол-холестерол.

Летом, в самую сердцевину дня, бедной Антуанетточке позвонили на работу. В таких случаях почему-то всегда звонят на работу. Анита Борисовна? – осведомился торопливый, с легким металлическим привкусом голос. – Ваша мама в пятьдесят второй больнице. Что вы говорите? Да, сердце. Инфаркт.

Маму хоронили в страшную жару. В налитых огнем ртутных пробирках заоконных градусников бессильно плавился обезумевший Цельсий, изнемогали под мертвыми кустами, вывалив серые обложенные языки, тусклые, пыльные дворняги, и только шоколадные конфеты, которые Антуанетточке велели на помин раздать притихшим подъездным детям, были твердыми, неподвижными и как будто даже слегка заиндевевшими, как мама, – потому что тоже всю ночь, до утра, пролежали в морозильной камере.

Кладбище было бесконечное. Огромное, торжественное, пустое, как город, оно дрожало в жидком от жара воздухе, слабо позвякивая жестяными острыми листьями искусственных венков, и в такт ему подпрыгивали в крошечном ритуальном автобусе обитый седовато-черным сатином гроб и совершенно незнакомые Антуанетточке, опухшие, краснолицые, душные люди. На очередном безжизненном перекрестке автобус резко притормозил и принял на подножку двух могильщиков – рослых, налитых полупрозрачным крепким розовым жиром мужиков в гремучих брезентовых штанах. Один из них, помоложе, густо заросший на груди рыжей ку-

черявой шерстью, весело подмигнул и, отстегнув от пояса крошечный мобильный телефон, тут же принялся названивать какой-то Любушке, притаптывая от нетерпения огромной босой серо-глиняной ногой и утробно похохатывая, пока второй мужик, тоже босой, коренастый, с седыми от пыли косматыми бровями, не толкнул его укоризненно в бок черенком лопаты.

Быстро, с какой-то профессиональной, щеголеватой ловкостью забросав могилу комьями закаменевшей глины, они с достоинством взяли потный, принявший форму Антуанеточкиной ладони комок денег и пошли прочь, по-солдатски приняв на плечо текучие от солнца, ослепительные лопаты и неторопливо переговариваясь, пока не растворились наконец в звонко трещащем полуденном мареве, полном цикадных стонов и журчащих звонков далекого мобильного телефона, – торжественные и невозмутимые, словно ангелы в огненных нимбах лопатных лезвий.

Следом за ними потянулись и все остальные – какие-то соседские старушки в низких платочках, отсыревшие от слез, безутешно молодящиеся продавщицы из бывшего маминного магазина, неведомые мужики в тесных, липнущих к спине синтетических рубашках... Все они по очереди подходили к растерянню мнущейся возле свежего холмика Антуанетточке, тискали горячими липкими руками, прижимаясь, коротко взрыдывая и обдавая ее удушливыми волнами подсыхающего пота, плохо переваренного лука и алкогольного сочув-

ствия, пока не исчезли в раскаленной утробе автобуса, который и должен был – за самую скромную мзду – переправить всех обратно через Стикс.

У могилы осталась только одурелая от солнца, распаренная Антуанетточка и худой обугленный дядька в нестерпимо черном колючем шерстяном пиджаке, на который Антуанетточке было страшно даже смотреть. Дядьку Антуанетточка не знала, точнее, просто не помнила, различая маргинальных маминых кавалеров только по законному свистовому переливу, а дядька всё стоял, покачиваясь, на коленях у деревянного столбика с табличкой, тоненько подвывая и непрерывно вытирая огромным носовым платком глянцевое от слез резиновое лицо и раскаленную коричневую лысину.

Пойдемте, – тихо попросила его бедная Антуанетточка, и дядька быстро, как испуганная лошадь, мотнул головой и разом потянулся к Антуанетточке всеми своими мокрыми гуттаперчевыми морщинами: “Што ж мы без Алечки-то будем делать, доча? А, доча?!” Антуанетточка молча развернулась и, отмахиваясь рукой от растерянных окликов, заковыляла, спотыкаясь о холмики и плиты, – прочь, прочь, от этого жуткого, жуткого, невозможного места.

Она выбралась к людям уже ближе к вечеру – странная, тихая, до бровей занесенная тончайшей глинистой пылью удивительного, серо-смуглого нежного оттенка – того самого, что требовала бабушка, выбирая в промтоварах Антуа-

нетточкиного детства пудру и соглашаясь исключительно на “Рашель”. Но продавали почему-то всё больше крем “Анго” – против загара и веснушек, и сопящая Антуанетточка уводила недовольную бабушку прочь – к ароматным вратам гастронома, где под стеклянной, засиженной мухами полусферой лежало толстое полено бисквитного рулета с рыжим повидлом и продавались хрупкие песочные корзиночки, украшенные тремя вязкими вилюшками белкового крема.

Потом бабушка умерла, и вот мама умерла тоже.

В квартире стояла гулкая пустота: поминки справили, так и не дождавшись Антуанетточки. Антуанетточка машинально забрела на кухню, постояла там – по щиколотку в щекотном закатном солнце, – глядя на гору вымытой безымянными соседками посуды, на стакан водки, прикрытый подсыхающей ржаной горбушкой, на заботливо оставленную для нее тарелку с месивом винегрета, колбасы и мутноватого свиного студня, и так же машинально пошла в комнату, которая при маме торжественно звалась залой. Старое кресло было на месте. Бедная Антуанетточка сама запретила ссылать его на помойку. Центр мира никуда не переместился.

Антуанетточка засунула руку в щель между сиденьем и подлокотником, минуту пошарила среди крошек и закамневших огрызков незрячими пальцами и вытащила из небытия отцовскую фотографию. “Завтра куплю тебе рамку”, – пообещала она, разминая выцветшее мужское лицо непо-

слушными пальцами и не замечая, что всё вокруг – кресло, воздух, паркет, она сама, фотография – покрыто тончайшим налетом серой кладбищенской глины.

Тем не менее всё как-то утряслось. Конечно, всегда неприятно узнавать о том, что в мире существует горгаз и счета за электричество, но Антуанетточкину действительность питали совсем другие источники – книги. Изданные, неизданные, готовящиеся к изданию, устаревшие, подписанные в печать. Скучные библиотечные полки были забыты и опустошены. Жизнь бедной Антуанетточки теперь была подчинена биению рынка отечественного книгоиздания.

К тридцати годам Антуанетточка развилась в полноценного тайного гурмана, причем ее литературные пристрастия самым причудливым образом переплелись с гастрономическими. Оказалось, что, скажем, Георгий Иванов под профитроли в шоколадном соусе – это совсем не то же самое, что Георгий Иванов с пластом ржаного хлеба и толстым розовым диском докторской колбасы. Символисты настоятельно требовали горячих слоев с ветчиной и сыром, а Дзюньитиро Танидзаки или Ясунари Кавабата почему-то особенно хорошо шли с маленькими малосольными огурцами. И Антуанетточке казалось, что в самом хрусте бело-зеленого пупырчатого огуречного тела заключено что-то необыкновенно изысканное, японское.

Несмотря на профитроли и прочие излишества, бедная Антуанетточка больше не толстела – словно причудливая

восковая отливка, попавшая наконец в прохладную воду. Она как будто навек застыла в своем неопределенно-личном возрасте и из уродливого переростка превратилась в самую обычную конторскую тетку в вечной твидовой юбке и захватанных пальцами круглых очках. На нее не обращали внимания ни на работе, ни на улице – ее просто не видели, как не замечают пешеходы круглого лаконичного языка дорожных знаков или люди, не читавшие Набокова, – бабочек.

Бедная Антуанетточка стала как все. Превратилась в рядовой толпообразующий элемент. И это было как будто умирать – заживо и в полном сознании. Или даже еще хуже. Тем не менее она научилась испытывать нечто вроде счастья – да, счастья! – особенно когда возвращалась по вечерам со своего молочного завода – две станции на метро, одна трамвайная остановка и потом десять минут пешком – с непременно заходом в большой супермаркет, подсвеченный изнутри, словно елочная игрушка.

В супермаркете к Антуанетточке привыкли. Она была клиент, то есть брала понемногу, но зато всегда самое лучшее, дорогое, и расплачивалась исключительно наличными (а что ни говорите, никакая пластиковая карта не сравнится с живым грязноватым теплом настоящих денег). К тому же толстые очки бедной Антуанетточки и ее же бесформенные бедра не вызывали у бедных продавщиц, вынужденных круглосуточно кипеть в собственном завистливом соку, никаких адреналиновых вспышек. “Рокфор не очень сегодня,

не советую”, – как соучастнице шептали они, и Антуанетточка благодарно отдергивала пальцы от гнилостного деликатеса, насквозь проросшего благородной голубой плесенью, брала рыжеватую лепешку савойского реблошона и, словно замороженная, катила свою тележку дальше – навстречу бесконечным полкам, коробкам, шуршащим витринам. А позади нее всё та же продавщица всё с той же любезностью подталкивала скверный рокфор другой покупательнице – холеной и со стройными бедрами, облитыми ярким наглым платьем. И только хрупкий, едва осязаемый ледок на дне вежливой улыбки намекал на коварный подвох и грядущий хохот в прокуренной подсобке: девки, а я ведь втюхала рокфор этой рыжей козе. Ну, той, на белом мерсе. Пускай просрется как следует, гадина!

Справа от кассы приютился книжный лоточек – очень, впрочем, убогий: рассыпающиеся пакеты со зверскими названиями на зверских обложках, какие-то аляповатые раскраски, непременно “Протоколы сионских мудрецов”. Но бедная Антуанетточка как-то разговорилась с измученной отставной филологиней, торгующей этим библиографическим вздором, и теперь под прилавком ее всегда ждало что-нибудь приятное: аппетитно похрустывающий переплетом Пруст, свежеизданная цветаевская переписка или – такое чудо, Анечка, специально для вас! – какой-нибудь “Легкий завтрак в тени некрополя”.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.